

Памятник русскому Парижу

Иван Толстой

Разговор о публикации крупнейшего эмигрантского архива (редакционной переписке "Современных записок") ведут исследователи Олег Коростелев, Олег Будницкий, Александр Данилевский и Владимир Хазан

Иван Толстой: Памятник Русскому Парижу: Современные записки в профессиональных руках. В наших программах мы не раз обращались к поразительной находке последних лет – архиву редакции «Современных записок». Бумаги, обнаруженные в Русском архиве Лидского университета в Англии, легли в основу самой крупной публикации по истории русского зарубежья. Нулевой том с исследовательскими статьями и четыре кирпича с письмами, комментариями и фотографиями – пятикнижие, на котором можно взрастить не одно поколение исследователей.

Главными редакторами всего проекта стали Олег Коростелев и Манфред Шруба. Издательство – Новое литературное обозрение. Теперь замысел завершен. Последний том настолько свеж, что он еще не доехал, не долетел, не доплыл до ряда авторов публикаций.

Сегодня мы будем подводить итоги и рассказывать о судьбах некоторых корреспондентов.

Мой первый собеседник – Олег Коростелев.

Олег Коростелев: Проект можно считать завершенным.

Иван Толстой: Но это объявленный проект, а есть ли у этого айсберга подводная часть, то есть перспективы, надежды чем-то расширить и дополнить?

Олег Коростелев: Расширять и дополнять можно практически до бесконечности. «Современные записки» втягивали в свою орбиту практически всю эмиграцию. Так что если задаться целью опубликовать все документы, которые так или иначе имеют отношение к «Современным запискам», то остановиться будет невозможно.

Иван Толстой: Можете раскрыть скобки и сказать, что же вы имеете в виду прежде всего, это что могло бы быть?

Олег Коростелев: Мы опубликовали самые основные корпуса переписки редакторов «Современных записок» друг с другом, которые составили первый том, и редакторов «Современных записок» с авторами, не со всеми. Потому что архив любого издания включает в себя как переписку с самыми главными авторами, так и со второстепенными, а также третье-, пяти-, восьмистепенными и совершенно уже случайными, типа: я написал стишок, напечатайте меня. Сами понимаете, в любом издании такого много и, я бы даже сказал, это большая часть, которая не всегда сохраняется, которую, наверное, можно опубликовать целиком, но стоит ли — это большой вопрос.

Иван Толстой: А можете назвать какие-то имена, которые остались за пределами этих четырех томов, если все-таки выбирать людей более-менее на слуху находящихся, как вы говорите, представленных не первоклассным материалом?

Олег Коростелев: В проект могли бы войти еще несколько переписок, на которые не обнаружилось под рукой исследователей, которые могли бы этим заниматься. Разумеется, сюда могли бы войти переписки таких людей, как, скажем, Керенский, Мельгунов, Кускова. Если взять эти три корпуса, добавить к ним переписку редакции с Кизеветтером, с Мельниковой-Папоушек, получился бы, наверное, еще один том, и он вполне заслуженно был бы наравне с вышедшими четырьмя. Это не сложилось. Может быть, когда-то мы или, скорее, кто-то выпустит еще дополнительный том, а скорее это будет просто дополнительные публикации к основному корпусу. Мы с Манфредом Шрубой уже начали публиковать эти дополнительные переписки. Скоро выйдет окончание переписки Вишняка со Степуном. В четырехтомник вошла их переписка, относящаяся к периоду существования «Современных записок», а послевоенная переписка выйдет. Таких окончаний, разумеется, может быть много. «Современные записки» завершились на взлете в 1940 году внезапно, не волею редакторов, а событиями международного уровня. И авторы, и редакторы многие продолжали жить, существовать, действовать. Не сложись так, «Современные записки» могли бы прекрасно продолжаться. В сущности то, что Алданов и Цетлин открыли «Новый журнал» в 1942 году, было вызвано внешними условиями, все эти же самые авторы могли продолжать печататься в «Современных записках», сложись немножко по-другому жизнь. Бунин, Адамович, Набоков прекрасно могли бы продолжать печататься и в 71-м, и в 81-м номере «Современных записок», и они бы еще продолжались в этом качестве, я думаю, лет 15 совершенно спокойно. Но вышло по-другому.

Иван Толстой: Можно вас попросить напомнить нашим слушателям о том значении, которое имели «Современные записки» в жизни эмиграции между двумя войнами?

Олег Коростелев: Любопытно получилось: получился контраст между тем, как это издание было задумано и основано, и тем, что из него в результате вышло в конце концов. Изначально журнал, толстый журнал эсеровский был задуман как одно из многочисленных эсеровских изданий, наравне с другими, с «Волей России», с несколькими газетами, как такой партийный орган, субсидированный на деньги Русской акции чешского правительства, как и все остальные. По крайней мере, один из редакторов Фондаминский изначально хотел, чтобы это было не сугубо партийное издание, а все-таки взявшее на себя функцию общеэмигрантского, в котором литературный раздел не подчинялся бы общепартийной линии, а скорее наоборот починал себе все остальное. Остальные редакторы «Современных записок» так или иначе поддержали Фондаминского в этом начинании. В результате уже в середине 1920-х годов журнал «Современные записки» стал считаться центральным в эмиграции и с каждым годом все большее и большее приобретал влияние. И к 1930-м годам он был непререкаемым авторитетом, стал витринным в эмиграции.

Журналы бывают двух типов в основном, так уж повелось в России, — экспериментальными, в которых вырабатываются новые идеологии, направления, еще что-то, и такими витринными — выставками достижений эмигрантского литературного хозяйства. «Современные записки» стали такой витриной. Они включали в себя все лучшее, все сливки, в этом качестве продержались, пока война не оборвала все это, в течение 20 лет — это для эмиграции почти рекордно, мало кто так долго держался. Причем, на таком качественном уровне, наверное, никогда никто не мог удержаться, чтобы каждый номер состоял из звезд и суперзвезд, причем во всех разделах, как в беллетристике, так и в критике, в публицистике. Каждый номер открывался Буниным, вслед за ним шел Алданов, потом Набоков, потом Ходасевич, Адамович, Цветаева, а потом дальше шли публицистика Федотова, Флоровского, Франка и даже рецензии, самые мелкие рецензии все равно писали лица, тот же Алданов, тот

же Федотов. То есть практически ни одного материала проходного, за редким исключением, не было. Такого уровня и качества подбор номеров невозможен был ни в дореволюционной России, ни в советской России. Это какой-то уникальный памятник российской периодики.

Иван Толстой: Вот все хочется отвлечься от тех времен и спросить: а что же никто не возьмется переиздать «Современные записки»? Помните, сколько было разговоров о необходимости их, о том, что их нет в библиотеках, о том, что такой невероятный культурный, исторический, интеллектуальный памятник. Кто-то брался в Петербурге несколько лет назад, два тома вышло, да еще и комментированных. Конечно, их нужно было издавать комментированные. Почему не идет дело? Только ли в экономике вопрос?

Олег Коростелев: Проект действительно обсуждался много раз. Тот проект, о котором вы говорите, он был доведен, был результат. Команда Бориса Аверина из Питера воплотила это, сделали, выпустили два тома, хотели бы продолжать. Продолжения не последовало, разумеется, по экономическим причинам. Купить сейчас 70 томов, затратить на это определенную достаточно большую сумму денег, а главное, для меня это было бы главное, две полки своей библиотеки отдать этим 70 книгам, не занимайся я сам напрямую «Современными записками», я бы очень серьезно подумал, а нужно ли это. Подозреваю, что покупатели решили именно так. Потому что тиража у их издания практически не было. На самом деле поинтересовался, естественно, на выставках, сколько экземпляров было продано, это не превысило сто.

Иван Толстой: Не превысило ста экземпляров?

Олег Коростелев: Нет.

Иван Толстой: В современном мире, где такое количество библиотек, где можно было бы на библиотеках решить этот вопрос, даже не на частных покупателях.

Олег Коростелев: Теперешние издания не могут быть рассчитаны только на библиотеки и ни на что другое. Беда в том, что наши библиотеки не имеют возможности на покупку этого. Наша современная ситуация ужасна тем, что если западный профессор может себе позволить купить книжку за 30-40 долларов, если на Западе существуют 200 библиотек, которые обязаны покупать один экземпляр, может быть, в совокупности это наберет 300-400 экземпляров тиража и для нормальной книжки это вполне достаточный тираж, то у нас библиотеки не имеют возможности это купить, а наша профессура не имеет возможности тем более. Соответственно, вся коллизия в том, что даже если выпустить эту книгу, то она все равно не будет иметь продаж. Замкнутый круг получается. Плюс к тому интернет, полный комплект «Современных записок» в оцифрованном виде висит в интернете, нашими стараниями, нашей команды, их можно читать, смотреть, копировать в том виде, в котором они были изданы, со всеми картинками, опечатками, рекламами, всем прочим. То есть комплект доступен, доступен широко. Будем надеяться, что он продолжит висеть, пока есть на то потребность.

Иван Толстой: Давайте вернемся собственно к самим «Современным запискам» и к их содержанию. Скажите, пожалуйста, издание планетной системы вокруг самого Солнца, то есть публикация всех этих переписок, всех этих материалов и комментарии к этому, насколько и куда продвинули представление исследователей о самом этом явлении? Что теперь становится понятно, что открылось, давайте говорить персонально, вот вам лично, какие горизонты, какой угол зрения, что вам захотелось, о чем написать, кто стал понятен больше, чем прежде?

Олег Коростелев: Как известно, черт в деталях. Самое интересное — это не то, как мы со стороны нашего опыта прошедших десятилетий смотрим на те явления, которые для нас кажутся окаменевшими, в бронзе застывшими, а на то, как это все складывалось, как все это

развивалось, как постепенно кристаллизовали репутацию, как формировались мнения. На мой взгляд, всегда интересно вот это. Потому что современный сегодняшний взгляд на Набокова, мы не можем вычеркнуть из нашей головы то, что в любой библиотеке стеллаж или другой уделен книгам о нем, он для нас уже классик, мы никак не можем от этого отказаться. Кто-то очень верно говорил: любой историк вполне может, изучая Пушкина, прочитать все, что читал Пушкин. Это можно. Но заставить себя забыть то, чего он не мог читать, — это практически невозможно, очень трудно от этого отказаться. Здесь то же самое. Когда мы начинаем читать переписку редакторов, мы натываемся со священным ужасом на то, что: тут какой-то щенок, провинциал из Берлина пишет какую-то чушь, его зовут Владимир Сиринов. С этим очень трудно справиться. Когда всерьез начинают редакторы, уже печатающие Набокова в собственном журнале, говорить, что: сколько можно, давайте и других каких-то. Для нас это выглядит святотатством, но они думали так. Именно это интересно, как постепенно он уважать себя заставлял все больше и больше, как он формировал свою собственную репутацию. Вот в этом все интересное. Как Бунин, который, разумеется, он был академиком российской словесности, имел авторитет, но в России у него безоговорочной репутации незыблемой еще не было. И он заставлял с собой считаться в эмиграции и, между прочим, очень серьезно прикладывал к этому руку. И по сути он заставил Бунакова-Фондаминского считать себя незыблемым богочеловеком, автором первой величины. Любые попытки редакторов подвинуть его хотя бы на второе место, даже если он сам был виноват, что не сдал вовремя рукопись, кончались такой бучей, что редакция никогда не пыталась повторять таких попыток. Он заставлял с этим считаться и его взаимоотношения с редакцией к этому и приводили. По сути он стал незыблемым классиком на наших глазах в течение 1920-х годов. Взаимоотношения его с редакторами «Звена» и с редакторами «Современных записок» - прекрасный наглядный пример, как это все происходило.

Иван Толстой: Чья репутация в истории литературы подверглась какому-то изменению в результате публикации этих материалов, изучения исследователями архива «Современных записок»?

Олег Коростелев: Мне кажется, что таких имен может быть и не было, а вот саму структуру. Да, кто-то был чуть потеснен, кто-то чуть возвышен. Пока не начнешь смотреть, не придет в голову, что, например, Сергей Гессен мог занимать такое большое место в переписке редакции, что редакторы настолько считались с его мнением, настолько прислушивались к его отзывам, спрашивали у него мнение о той или иной публикации, а Гессен был очень заядлым читателем, каждый номер «Современных записок» он прочитывал, писал мини-рецензии очень, между прочим, нестандартные. Редакторы прислушивались к нему. Это было несколько неожиданно.

Что Зензинов занимал среди них в редакции такое крупное место — это понятно. Старый школьный, можно сказать, приятель и друг — это да. Но кто бы сейчас отнесся к Зензинову как к прозаику? Даже в голову не могло придти. А между прочим, посмотрите вещи, которые в «Современных записках» опубликовал Зензинов, они, между прочим, очень интересно написаны, очень неплохо написаны. Я не говорю, что это крупный прозаик, но это великолепная проза мемуарная, публицистическая. К примеру, его повествования и ссылке его в Сибирь — это исключительно интересно. Его повесть про собаку — это очень трогательно, очень замечательно.

Иван Толстой: Она потом, кстати, была отдельным изданием.

Олег Коростелев: Переиздана была. И эти мемуарные очерки про ссылку читаются как сейчас. С точки зрения описания у него был свой опыт, это все было очень интересно. Вот эта среда ужасно пуританская, трогательные дореволюционные отношения. Замечательно просто и

написано хорошим языком. Я хочу сказать, что даже эти персонажи, которые сейчас совершенно забыты, даже не вычеркнуты, а просто полностью забыты как литераторы. Редакторы «Современных записок» совершенно не ошибались, когда печатали их в своем журнале. Они прекрасно понимали, какого уровня и ранга вещи. Невозможно подумать, что они что-то печатали откровенно слабое. Я не могу сказать, что там не было абсолютно не единого случая. Да, скажем публикация романа «Ли́ра» Данилова — это в своем роде провал, слабая вещь. Было еще несколько публикаций молодых авторов — это не будет относиться к их находкам и достижениям, скорее они поддались ламентациям критиков, что сколько можно печатать одних и тех же, Бунина и Куприна, надо же и молодежь как-то. И вот они, поддавшись этому, печатали несколько раз молодых. Кто-то из молодых действительно стал классиком, а кто-то не стал. В конце концов для любого журнала это всегда лотерея, где угадаешь, где не угадаешь, никто никогда не может знать. Таких катастрофических провалов у них не было ни одного, небольшое провисание иногда случалось. В целом, если брать средний фон уровня тогдашней литературы, это провисание с отклонением минус 5% от общего уровня — это совершенно незначительно для среднего уровня журнала, который, я повторяю, можно спокойно переиздавать, эти 70 томов, в качестве образца, идеала качества журнала российского. Это лучший толстый журнал российский за все годы существования русской периодики, за все 300 лет ее существования, за 150 лет существования эмигрантской периодики тем более.

Иван Толстой: Архив «Современных записок» был найден неожиданно — это научный и культурный праздник. С чем вообще можно было бы сопоставить эту находку? Есть ли подобные находки в нашей истории новейшей? Что бы хотелось найти, архив какого издания, какой редакции, чтобы познать наше прошлое?

Олег Коростелев: Редакционные архивы эмигрантские публикуются относительно недавно, но уже сделано немало интересного. Началось все это с публикации архивов немецких. «Новая русская книга» - это знаменитое издание «Русский Берлин», которое делали Флейшман сотоварищи. И второй, еще более крупный делали они же — это пятитомник газеты «Сегодня», до сих пор непревзойденный, хотя по объему мы его превзошли, они это все начали. Мы хотели бы продолжать в этом духе. Я тоже приложил к этому руку. Я в свое время делал архив нью-йоркских «Опытов», все жду, когда появится наконец архив парижского «Звена», второй для меня по интересности.

Если «Современные записки» - это лучший русский толстый журнал, то «Звено» - это был самый интеллектуально-аристократический, самый культурный орган за всю историю русского печатного дела. Недолго просуществовавший, но по уровню критических сил высшее достижение из всех, что были возможны. Надеюсь, что книга в этом или следующем году все-таки появится, речь о ней идет очень давно, она подготовлена уже несколько лет назад, надеюсь, что все-таки выйдет.

Не так давно в архив Дома русского зарубежья поступил архив «Мостов». Это тоже давно хочу сделать — это одно из самых интересных изданий второй волны. Эмигрантские архивы, к сожалению, сохранились гораздо хуже советских изданий, поскольку негде было хранить и некому, в сущности, не было такой организации, которая бы занималась этим. Поэтому не сохранился архив «Чисел», не сохранилось многое из других изданий, которые хотелось бы все-таки видеть.

Да, в сущности, архив «Современных записок» - нашлась, о чем мы говорим, одна из частей архива Руднева, по сути сам архив «Современных записок» как таковой вообще был распылен. Часть архива Вишняк подарил за издание своей книги, другая часть его же бумаг осела в Гувере, часть архива Руднева, один из нескольких ящиков был уже известен и немножко пощипан публикаторами. Только сейчас, когда обнаружился в бумагах Земгора, а

Руднев был членом Земгора, и среди этих десятков ящиков обнаружались бумаги, относящиеся к «Современным запискам», они были нами собраны.

Здесь не только они, здесь основа из архива Земгора, но также бумаги из другой части его архива, а также бумаги Вишняка, а также все, что мы смогли найти по другим архивам, из Гувера, из Дома-музея Цветаевой, из архива Дома русского зарубежья, из ГАРФа, отовсюду, откуда можно было только найти и стянуть это все воедино. Некоторые публикации отсюда, скажем, бунинские публикации — это целая книга в книге, там 250 страниц мелкого шрифта, 290 посланий, это можно было отдельной книгой издавать, там более десятка архивов, материалы которых были сюда объединены и вышли под одной обложкой. То есть это получилось сборное такое, все, что имеет отношение из первостепенных материалов по «Современным запискам».

Иван Толстой: Мой следующий собеседник – историк литературы, профессор Иерусалимского университета Владимир Хазан. 15 лет назад он выпустил большой двухтомник стихов и статей Довида Кнута. Судьба – за старания – подарила исследователю-специалисту то, о чем только можно мечтать, – неведомый архив Кнута. И исследование можно начинать заново. В завершающем томе редакционной переписки напечатаны и письма Кнута. Владимир Хазан по телефону из Иерусалима.

Владимир Хазан: Давид Миронович Фиксман или Довид Кнут — это его псевдоним, псевдоним он взял по фамилии своей матери, – приехал в Париж в 1920 году. Бежали они из аннексированной Румынии, Бессарабии. Мне представляется, что между двумя мировыми войнами это одна из самых интересных, ярких, значительных фигур русской поэзии этого времени. Довид Кнут закончил институт в Кане, получил химическое образование. Жил он, как я понимаю, неплохо с точки зрения материальной, его семья держала небольшой ресторанчик, он заведовал мастерской по окрашиванию мехов, достаточно популярная среди эмигрантов в Париже специальность, и при этом писал стихи, которые сегодня, как мне думается, представляют собой некоторую литературную ценность, кроме стихов писал еще и прозу. В период Второй мировой войны Кнут бежал вместе со своей женой Ариадной Скрябиной, дочерью великого русского композитора, которая вышла за него замуж, при этом перейдя в еврейство. Создали на юге Франции боевую организацию, были членами Резистанс французского, боролись с нацистами на юге Франции в Тулузе. Хотя это была не оккупированная немцами зона, но там было достаточно сильное влияние профашистской французской милиции. Ариадна Скрябина погибла в одном из боев. Кнуту удалось перебраться в нейтральную Швейцарию, затем он вернулся вновь во Францию. Кнут, об этом нужно не забывать, был крупной общественной фигурой и не только в русском литературном мире, но и в еврейском. Он был редактором газеты еще до Второй мировой войны. После возвращения из Швейцарии во Францию он продолжал свою деятельность как еврейский общественный деятель. И в конце 1940-х годов эмигрировал, репатриировался в Израиль, в только что образовавшееся государство. В 1955 году умер от кровоизлияния в мозг.

Эмиграция для человека, когда он теряет все свои основы, когда он теряет одну землю, когда он теряет язык, когда он теряет свое привычное с детства окружение, — это не всегда в общем-то зло. Почему это не зло? Для Кнута, который приехал из Бессарабии, из достаточно провинциального Кишинева, который если бы жизнь его и судьба его сложились бы иначе, остался бы достаточно провинциальным, в Европе приобрел некоторое значение, некий литературный вес. Кнут писал не только по-русски, Кнут писал по-французски.

Значительная часть его литературного архива была обнаружена к моей величайшей радости лишь недавно. Я в свое время написал монографию о Кнута, издал двухтомник его сочинений, но многого себе не представлял. И только года два — два с половиной назад,

столкнувшись с его огромным архивом, который я нашел в Израиле, который до этого времени не был известен, понял, что Кнут гораздо более интересная фигура, гораздо более значительная фигура и как человек, и как художник, и как общественный деятель. Многие тексты Кнута неизвестны. Кнут писал, повторяю, на французском языке, и некоторые романы, которые они написали втроем — он, Ариадна, будущая его жена и французский писатель Рене Межан, который был ее мужем, до сегодняшнего дня не опубликованы. Есть дневник Кнута, в котором он фиксирует примерно с 1934 до 1954 года, в течение 20 лет, если не каждый день прожитой жизни, то в нем есть очень интересные, яркие, значительные эпизоды, описывающие и эмигрантских деятелей, и некоторые явления литературные. И самое главное, что мне в особенности интересно, думаю, читателям и слушателям это в особенности важно, саму атмосферу литературного быта. Тот литературный быт, который нельзя придумать и восстановить, и сочинить, сфантазировать уже потом, его можно только зафиксировать и запечатлеть, когда ты с ним живешь и когда он тебя окутывает, когда ты существуешь в нем, ничего не сочиняешь, ничего не придумываешь задним числом.

Эмиграция для Кнута была не только злом, мы понимаем, что это травматическое существование, и так далее, эмиграция для Кнута была в большой мир больших значительных идей, образования, знаний, представлений о мире, масштаба, то, что выдающийся русский поэт и философ Вячеслав Иванов назвал «мир по вертикали». Вот эту вертикаль Кнут, конечно же, приобрел только в эмиграции.

Я недавно опубликовал забавные стишки Кнута, эпиграмматического характера, взятые из новонайденной части его архива, которые посвящены Осипу Мандельштаму, где он сопоставляет и, видимо, он имел на это право, сопоставляет две фигуры двух поэтов, двух выходцев из еврейского мира, двух представителей еврейского сознания в литературе — себя, вышедшего из провинциального Кишинева, и столичного Мандельштама.

*Рожденный у подножья Иваноса (это такая горка в Кишиневе),
не видел дальше собственного носа.
Тот дивный мир был неразумно мал,
но хаос иудейский не пугал.
Он времени не слышал прорастанья,
Как будто не имел к нему касанья.
Но тот же запах исходил от книг,
К которым любовно он приник,
И тех же звуков праздничный парад,
Хоть в Петербурге так не говорят.
Исчез в тумане город Петербург,
Он стал чужим в отечестве своем,
И Солнце хоронить собрались в нем.
Но то, что им не взято было в толк,
Открыли Мандельштам и Святополк.*

Ясно, что он имеет в виду самого себя. Стихи Кнута представляются мне одним из самых интересных, самых, может быть, иногда крупных достижений русской эмиграции между двумя мировыми войнами. Его стихотворение, которое помещено было в «Современных записках» и по поводу которого он переписывался с редакцией «Современных записок», одно из самых замечательных стихотворений о русской эмиграции «Кишиневские похороны», я только прочитаю его первую строфу. Стихи о далеком канувшем мире, строчки из которых стали эпиграфом или даже названием целых книг «Особенный еврейско-русский воздух».

Я помню тусклый кишиневский вечер:

*Мы огибали Инзовскую горку,
Где жил когда-то Пушкин. Жалкий холм,
Где жил курчавый низенький чиновник -
Прославленный кутила и повеса -
С горячими арапскими глазами
На некрасивом и живом лице.*

Тема Пушкина, незабываемого имени, символа русской поэзии, спасения и исцеления русского характера и нравов было для эмигрантов одним из самых великих имен, связанных с Россией, с родиной, с местом, где они родились.

Иван Толстой: В фокусе Михаил Осоргин. О нем рассказывает профессор Таллинского университета Александр Данилевский.

Александр Данилевский: Михаил Андреевич Осоргин, настоящая его фамилия Ильин, был до своей писательской карьеры профессиональным революционером, тяготел к эсерам и одно время даже, по-моему, к эсерам-максималистам примыкал, во всяком случае, потом очень подробно их описывал. Он был в события 1905 года вовлечен, в первую русскую революцию. И фамилию его перепутали, ему грозила высшая мера наказания, он вынужден был бежать, и после этого он долго, получается, с 1905-6 года жил в Италии, предпочитал такое местечко Сестри, это под Генуей. Жил там и занимался тем, что писал в главные русские газеты корреспонденции, то есть был чем-то вроде корреспондента, а потом стал даже публицистом. Писал он в «Русские ведомости», самая котирующаяся тогда газета, где Влас Дорошевич был, и в разные журналы. И вот постепенно отточил перо, он очень хорошо писал, плюс, ему было о чем писать - он знакомил русских с Италией. А надо сказать так, что он в Италию влюбился и за 5-6 лет, которые ему там довелось быть, выучил почти все — это фантастика! - практически все диалекты итальянские. Это вообще умопомрачительно для современного человека. И писал он очерки и публицистику или принимал деятелей науки и культуры в Италии, показывал.

А потом, когда началась Первая мировая война, захотел как-то со страной своей сблизиться, видимо, был патриотический порыв. То есть, до 1917 года он вообще-то ничего не писал художественного, по-видимому, тяга к художественному писанию началась у него в 1918 году, когда он открыл вместе с Бердяевым, Муратовым и еще разными деятелями культуры Книжную лавку писателей в Москве. Но конкретно стал писать уже в эмиграции. И поскольку в журнале «Современные записки» все были эсеры (шутка была в эмиграции: «А судьи кто?» - «Да пять эсеров»), они всего его знали, и он всех знал. Особенно он был близок с Марком Вишняком, самым молодым редактором, то, как я понимаю, само собой произошло сближение, и они его взяли в штат, он был в штате газеты милюковской «Последние новости» и как-то даже представлял в ней журнал «Современные записки». Стал тогда потихонечку писать. Вначале это были рассказы, а потом он прогремел своим романом «Сивцев Вражек» - это потрясающая вещь на самом деле, очень хорошо написанная, текст реалистический. Он в это время тяготеет к такому реализму, я бы даже сказал, к нео-реализму, то есть реализм, который искусился достижениями модернизма, с оглядкой на модернистские штучки, того, что наделал, то есть чего достиг символизм к 1910 году, все время с оглядкой на поиск новых средств выразительности. И вот он в этом духе стал работать, дальше — больше.

Написал повесть, я бы сказал, или маленький роман «Вольный каменщик» - роман, посвященный и внешней, и внутренней стороне масонства. Михаил Андреевич был тот человек, который ложу целую открыл во Франции русскую, он был масон какого-то исключительно высокого градуса, человек, посвященный в эти дела. Он об этом пишет, естественно, не все свои тайны выдает, да особых тайн и не было. Вот эта вещь несет на себе отпечаток уже авангарда. Дело в том, что он пишет там с оглядкой на формалистские разыскания, то есть с

оглядкой на русских формалистов, на писания Тынянова, и так далее. То есть там такой текст в тексте, в это время очень модно. Вспоминаем Леонида Леонова, роман «Вор», «Мастер и Маргарита» - роман о романе и так далее. Плюс он все время выступал как человек, который молодых пригревает, все время заботится о молодых. Я думаю, что он сыграл за рубежом в русской эмиграции, а конкретно в Париже, роль такую, какую сыграл в Петрограде в начале 1920 годов Евгений Замятин, с которым, кстати, они сразу подружились, когда приехал Замятин в Париж, Юрий Анненков их свел. По-видимому, они были конгениальные люди, они и внешне похожи, симпатичные такие, умные, холодноватые немножечко в этом плане, как писатели. Они друг другу очень пришлись по душе. Есть, во всяком случае, известные фотографии. Василий Семенович Яновский, человек очень недобрый, с репутацией не очень чистой, если честно говорить, просто с грязной репутацией, добрых слов он мало кому говорил, он сказал такую вещь, написал у себя в книжке, что только два человека в эмиграции не побирались и были настоящими джентльменами — это Марк Алданов и Михаил Андреевич Осоргин. Это на самом деле очень о многом говорит. Он был необычайно благородный человек, отзывчивый. Он был убежденным анархистом, он не терпел никакой власти. Он мечтал, естественно, как всякий анархист, о голом человеке на голой земле и не терпел особенно диктата со стороны вот этих эсеров, которых он любил, знал как революционеров, как людей, но он все-таки не считал их профессиональными литераторами. И из-за этого иногда у него с ними вспыхивали конфликты. Иногда более-менее ярые, а иногда он просто заканчивал свои письма: «До свидания. Ваш с желанием укусь за плечо Михаил Осоргин». За какие-то проделки — не то взяли не того автора, которого он советовал, и так далее. Вот он разделял эти сферы: одно дело — это революция, другое дело — это литература. К литературе он относился истово на самом деле и не прощал никаких оскорблений в адрес писателей или ущемления их прав. Или если писатель что-то требует или излагает свою точку зрения, то не дай бог его чем-то обидеть. Тут Михаил Осоргин как профсоюзный работник выступал вперед и прикрывал грудью. Вот такое реноме, очень был интересный человек, сплошные позитивные знаки.

Плюс еще надо рассказать историю о том, что он в 1922 году был посажен на знаменитый философский пароход. То есть, большевики посадили целую группу, 160 человек плюс их семьи, на пароход, сказали, что они приговорены к высшей мере наказания, то есть, к изгнанию из советской России. Сказали на три года, но шепотом объясняли, что по сути дела навечно. Михаил Андреевич хотел жить со своим читателем, он понимал, что жить за границей и писать для 40 тысяч, а реально читали в Париже на самом деле тысяча — полторы тысячи человек, тиражи были соответствующие — 300-500, 1000 экземпляров. Он, естественно, хотел когда-то вернуться, от своего советского паспорта он не отказывался, ходил его продлевал, сколько мог. Даже женился последний раз на молодой девушке, тоже своя история, фиксировал этот брак в советском посольстве. Нельзя сказать, что он был советский, просто он понимал, что идея социальной справедливости неотменима, вот он эсер, на этом поднимался, идеи социализма — это ему было близко. А то, что советская Россия была ему не очень близка, другого-то ничего не было. А с 1933 года вообще поднялась опасность другого рода — национал-социализма в Германии. Все, хочешь не хочешь, выбирали. То есть, он симпатизировал отчасти Советскому Союзу. Очень симпатизировал Алексею Максимовичу Горькому и понимал, когда тот в конце концов вернулся. В эмиграции не поняли Горького. Осоргин, кстати, познакомил Горького с замечательным писателем Гайто Газдановым.

Иван Толстой: Интереснейшей фигурой Русского межвоенного Парижа был историк Сергей Сватиков. Об этой фигуре рассказывает профессор Олег Будницкий.

Олег Будницкий: Сергей Григорьевич Сватиков незаслуженно — это моя точка зрения - забытый историк, публицист, общественный деятель. Это человек, что называется, не первого ряда, наверное, но из тех людей, о которых забывать не следует, ибо они внесли немалый вклад, прежде всего, в изучение истории общественного движения и в изучение охранительных

органов старого режима, а также в борьбу против антисемитизма. В частности, речь идет о разоблачении самой знаменитой фальшивки XX века - «Протоколов сионских мудрецов». Сватиков родом из Ростова-на-Дону. Он учился в Петербурге, принимал участие в студенческом движении, вследствие чего был вынужден уехать из России, дабы не оказаться отданным в солдаты. Закончил вследствие этого юридический факультет Гейдельбергского университета. И потом был социал-демократом, меньшевиком, хотя не очень был активен в партийной деятельности, и очень много писал. Он выпустил в 1905 году брошюру «Созыв народных представителей», очень актуальную в это время, он выпустил «Историю общественного движения в России», множество статей по истории общественного движения, по истории студенчества уже в период Первой мировой войны. Он перед Первой мировой войной принял участие в обществе по изучению истории еврейской жизни, на самом деле это было общество по защите евреев, которые подвергались преследованиям - особенно военными властями в период Первой мировой войны, и тогда еще подготовил опубликованную много лет спустя книгу об участии евреев в русском освободительном движении.

В 1917 году был пик карьеры Сватикова, когда он был заместителем начальника управления по формированию милиции в Петрограде и был, самое важное, специальным комиссаром Временного правительства, занимался проверкой дипломатических учреждений за рубежом и ликвидацией заграничной агентуры департамента полиции. Это чрезвычайно важно и интересно. Он получил доступ к архивам, он беседовал с агентами, в том числе с Анри Бинтом, знаменитым парижским филером, который наблюдал там за революционерами. В 1918 году он выпустил такую брошюру, нечто вроде монографии «Заграничная агентура департамента полиции», очень важная брошюра. Замечу, что она была настолько, видимо, полезна, что в 1941 году в НКВД переиздал ее для служебного пользования.

В гражданскую войну Сватиков оказывается на Дону. Он поддерживает белое движение, добровольческую армию, хотя к нему отношение у добровольцев было негативное. Он был социал-демократ, написал что-то не то о Николае Втором. Даже кто-то грозился его убить. Так что все было непросто. Тем не менее, в начале 1919 года он был приглашен Николаем Парамоновым, известным предпринимателем, политическим деятелем и издателем, которому Деникин поручил создание отдела пропаганды добровольческой армии. Парамонов пригласил Сватикова своим товарищем, то есть заместителем, они когда-то вместе учились в гимназии, то есть хорошо его знал, и потом Сватиков много публиковался именно в «Донской речи», в том числе в журнале «Былое», издававшемся от «Донской речи». Это сотрудничество продолжалось недолго, поскольку Сватиков как социал-демократ не был утвержден в должности и оказался изгоем и среди белых. Он уезжает в Париж, а дальше эмигрантская жизнь, жизнь публициста, библиофила, он был одним из редакторов журнала «Русский библиофил», он был представителем Пражского архива в Париже, написал свою главную, по крайней мере, самую объемистую историческую книгу «Россия и Дон» об истории донского казачества, вышла в Белграде. В 1930-е годы, с 1934 по 1936 год проходил в трех слушаниях, в три серии, в три этапа процесс по делу «Протокола сионских мудрецов». Швейцарская еврейская община подала иск к распространителям, утверждая, что это злонамеренная фальшивка, которая способна только разжигать антисемитизм и, соответственно, потребовали ее запрета. Экспертами на процессе были в основном русские специалисты, поскольку «Протоколы» были впервые опубликованы на русском языке и, предположительно, созданы были именно в России. Заслушали российских экспертов Сватикова, Бурцева, Бориса Николаевского, Павла Милюкова. К этому процессу Сватиков написал довольно обширный труд о создании секретных протоколов по материалам Департамента полиции. Сватиков считал, что заказчиком протоколов был Петр Рачковский, начальник Департамента полиции. На основании своих изысканий он написал этот труд. Хочу сказать, что эта работа Сватикова легла по существу в основу почти всех последующих интерпретаций истории создания «Протоколов сионских мудрецов».

Его переписка с Рудневым, переписка с Марком Вишняком, она не очень большая, она как раз касается этих еврейских сюжетов, точнее, антисемитских сюжетов.

Он публиковался в «Еврейской трибуне», еще в начале 1920-х годов опубликовал статью «Рачковский и его подлоги», где, в частности, писал о «Протоколах», приобретших невиданную популярность и распространение в эпоху гражданской войны. А Руднев был секретарем «Еврейской трибуны». Очень важно понять, что «Еврейская трибуна», издававшаяся Максимом Винавером и созданная для защиты интересов русских евреев, — это не был еврейский орган, это был орган демократический, Руднев, совершенно русский человек, работал ответственным секретарем «Еврейской трибуны». На эту тему есть там переписка с Рудневым. То, что касается переписки с Вишняком, — это как раз по поводу публикации отчетов о бернском процессе и о том, что там делал и говорил Сватиков. Сватиков был очень недоволен тем, как это освещалось в данном случае в «Последних новостях», убрали часть его выступления. Особенно он возмущался тем, что он сказал в своих показаниях, что он был ранен во время еврейского погрома в Ростове-на-Дону, — это был октябрь 1905 года, один из самых кровавых еврейских погромов в период революции. Сватиков был этим возмущен, потому что он сказал, что он впервые об этом говорит и то в связи с тем, что такой важный процесс. Почему это было важно, потому что в 1933 году приходят нацисты к власти, нацисты начинают активнейшим образом издавать и распространять «Протоколы сионских мудрецов» и другую антисемитскую литературу и, разумеется, в Швейцарии тоже как раз в немецкоязычной части, а Берн — это немецкоязычная часть. То есть, здесь все очень тесно связано. Посему, как считали русские евреи и не евреи, очень важно было эту фальшивку разоблачить.

Вердикт бернского суда был такой, что это фальшивка и бессмыслица. Увы, слова и судебное решение в то время не играли существенного значения. И сейчас задним числом кажется не то, чтобы смешным, как-то непонятным, зачем они столько усилий прилагали, для чего они это затеяли. Но они делали то, что могли, и они это сделали, добились такого судебного решения, добились публикации и показали, что этот текст был сочинен, что это фальшивка, что он сочинен с теми или иными полицейскими или политическими целями, разумеется, не является произведением «сионских мудрецов».

Иван Толстой: Переписка Сватикова с редакцией «Современных записок» есть, она опубликована. А есть ли публикации Сватикова в «Современных записках»?

Олег Будницкий: Не припоминаю. Если не ошибаюсь, переписок, кстати говоря, нет. Понимаете, как построен принцип публикации этого многотомника: там не только по поводу публикаций в «Современных записках», там переписка редакции по разным вопросам. И переписка его с Рудневым и Вишняком, по сути, — не публикация в «Современных записках», просто показывает круг интересов и деятельность этих людей и атмосферу эмигрантского Парижа и не Парижа. В этом плане письма отражают какие-то очень важные стороны эмигрантской интеллектуальной и политической жизни, круг интересов этих людей, скажем так, их некие нравственные нормы, понятия и требования.

<http://www.svoboda.org/content/transcript/25439148.html>